

(1128-29) 1994
(1128-29) 1994



Виктор ИВИНГ:

«Я никогда не был поклонником Вертинского»

Из дневника. 1943–1946 гг.



вне программы. Я прослушал с десяток песенок. С меня было предовольно. И содержание их, чужое, далекое, полное холодной экзотики, и внешность певца — все казалось, отжившим, искусственно оживленным. Наружный труп, подмазанный косметиками покойник.

И я не мог отделаться от вопроса: кому это надо? Кого это может интересовать? Но многочисленные генералы и генеральши, работники НКВД в форме и в штатском хлопали достаточно дружно. И Вертинский охотно бисировал, не заставляя себя слишком долго упрашивать. Несколько раз он раскланивался и делал вид, будто уходит со сцены. Тогда я видел в профиль его слегка сутуловатую спину, скошенный затылок, слишком широкие брюки. Но, дойдя до лестницы, ведущей за кулисы, он останавливался, кланялся, возвращался на середину сцены, снова кланялся и начинал петь. Во время этих маневров каждый раз два-три человека оставляли свои места и выходили из зала, но взамен каждого ушедшего входило человек пять, так что абсолютное количество зрителей не убавлялось.

Я заметил очень мало актеров, вообще мало знакомых лиц. Говорят, была А. А. Яблочкина. Я ее не видел. Встретил Арнольда Шмулевича, который с пресерьезным видом со мной поздоровался. Зачем он здесь? Я знаю, что он не любит ни одного искусства — ни балета, ни драмы, ни оперы. Впрочем, виноват. Он в совершенстве изучил искусство добывать деньги, и это искусство он любит.

<...>

Из всех песенок Вертинского мне больше всего понравилась последняя, где он говорит о том, как хорошо быть холостяком, проснуться одному в постели, знать, что никому не обязан давать отчет о том, где и как провел ночь, избавиться от театральных сцен, громких фраз, мелодраматических объяснений, упреков ревности. Как хорошо пить вино вдвоем с приятелем и вспоминать о том, что вот эта дама мне была когда-то близкой, и разве, быть может, позволить себе легкий флирт с ее приятельницей, ибо, черт возьми, к этому обязывает честь мужчины.

Затем он вывел на середину сцены аккомпанировавшего ему пианиста. Затем они оба скрылись за кулисами. Так как хлопки продолжались, Вертинский вышел опять на сцену и очень мило и просто, голосом полусутолым сказал: — Конечно!

Толпа хлынула из зала. Генералы, полковники, майоры, а главным образом лейтенанты в защитных, золотых, а чаще серебряных, узких погонах, на которые стоит только взглянуть, чтобы определить их национальность, даже не переводя глаз выше на их физиономии, приторно смазливый в духе Игоря Нежного.

15 янв. 1944, суб.

<...>

[В группоме драматургов. — О.Ш.] Встречаю Кубу Галицкого [вероятно, Яков Маркович Галицкий (1890–1963) — театральный деятель. — О.Ш.] <...>. Куба принимается бранить Вертинского, спрашивает, ходил ли я к нему “на поклон”? Обвиняет его в “альфонсизме” в прошлом. Я ничего подобного о Вертинском не слышал, хотя и помню немало неблагоприятных поступков.

— Вертинский только однажды был честным, когда он объявил себя белогвардейцем, то

Продолжение. Начало см. “ЭС” № 26-27, 2004 г.

Живой ли является для нас фигура человека, влюбленного в кинозвезду и обязанного поэтому по двадцать раз смотреть все ее фильмы, знать наизусть все, что о ней пишут, вырезать из журналов все ее портреты, терпеть все ее капризы, не смея ревновать, дружить с камеристкой, чистить щеточкой bigoux и водить гулять Жужу, ухаживать за попугаем, сносить тысячи унижений, чтобы потом какой-нибудь прохвост, наступивший вам на хвост, вытеснил вас? Не лучше ли, дескать, сразу взвести курок и покончить с жизнью?

Песенка о несчастном бесе, вынужденном ночевать в мокрой холодной канаве, напоминает Вертинского прежних дней. Бес жалуется на свою горькую долю, на то, что люди зовут его злым. Легко, мол, быть добрым, когда спишь в теплом доме, на мягкой кровати.

Тут даже жесты напоминают старого Вертинского. Эдакое кругообразное движение кистью руки (локти прижаты к бокам) изнутри к наружи и затем вялый переброс ее через запястье другой руки. Почти таким же жестом усталого Пьеро Вертинский когда-то, развернув грязноватую тряпочку, протягивал вам на ладони какой-то кусочек, томно картавая:

— Берцовая кость г'афа Коновницына.

Это было во время той войны, когда он ездил с санитарным поездом на фронт и, вернувшись, рассказывал о своих впечатлениях:

— ‘аны как ‘озы (раны, как розы).

Этот дешевый эстетизм не покинул его и сейчас. Сохранилось и то любовное великосветской жизнью, смакование ее подробностей, которое свойственно лакеям, мечтающим о барской воле, и в котором обвиняли когда-то не без основания Игоря Северянина. Это, конечно, черта <слово нрзб.>, человека, всю жизнь грезившего о том, как бы самому пробраться в знать. Еще больше эта “мечта о красивой жизни” мучает не лакеев, которые хоть краешком глаза видят господское существование, притом с самой непривлекательной стороны, с изнанки, а мелких мещан захолустных городков. Эти воссоздают в своем воображении вожделенную “красивую жизнь” по бульварным романам, подписанным звонкими искусственными фамилиями, украшенными графским или баронским титулом, таким же фальшивым, как и нарисованные авторами сцены. Бедняки не догадываются, что сами-то авторы имеют о большом свете столь же туманное представление, как и их читатели, и принадлежат к той же породе платонически влюбленных в аристократию.

После двадцати пяти лет пребывания за границей пресмыкательское восхищение перед роскошью буржуазного существования уцелело в душе Вертинского. Или он там выступал по второразрядным кабаре, и жажда красивой жизни так и осталась неутоленной? Помню, как, собираясь писать “Бал господень”, он тщательно расспрашивал всех бы-

вавших за границей, “какая в Париже самая шикарная фирма дамских туалетов”. Шушу Бураковский [Александр Бураковский — с 1914 г. главный режиссер Мамондовского театра миниатюр; брат М. Арцыбашевой. — Прим. О. Ш.] специально, чтобы его подурочить, назвал Maison La-Valette, никогда не существовавший. Вертинский радостно вклеил этот Maison La-Valette в свои стихи. (Продолж.) 5 янв. 1944 г.

И сейчас этот Maison La-Valette невидимо присутствует в творчестве певца.

Но кроме песенки об иззябшем бесе, я не заметил вялых, томно-изнеженных жестов слабовольного несчастного Пьеро, кстати говоря, весьма не вяжущихся с жесткими линиями смокинга (они подходили к мягкому фиолетовому балахону с большими белыми пуговицами). В большинстве случаев этот жест носит иллюстративный характер. “Палестинское танго”, — возглашает Вертинский и воздевает руки, ладонями вперед, как на древних критских фресках, либо разводит руки от локтей в стороны, оставив предплечья прижатыми к ребрам и держа ладони вверх. Упомянув о гитаре, он пощипывает воображаемые струны и перебирает пальцами по невидимому грифу. Говоря о птице со стеклянными перьями, он проводит ладонями от пояса к низу, рисуя подобие топорщащейся коротенькой

юбочки. Но жест, который встречается чаще всего, это — широкий размет обеих рук в стороны. Певец словно пригвожден к незримому распятию.

Вероятно, мимика его довольно оживленна, потому что первые ряды смеются во время мимических пауз. Не могу судить. Бинокля при мне не было, а очки слишком слабы, чтобы через весь зал рассмотреть оттенки выражений лица. Мне приходилось довольствоваться интонациями голоса. Они достаточно убедительны. И тут несомненный прогресс, как и в произношении буквы “р” и в силе звука. Видимо, Вертинский много работал над собой.

Я проник в зал скорее из чувства спорта, чем из любопытства. Мне захотелось пройти в зал назло Церберам вешалки, не желавшим принять мою шубу. Я никогда не был поклонником Вертинского, хотя некоторые его песенки мне нравились. Раньше он обладал чутьем момента, умел “попасть в жилу”, найти <слово нрзб.>, который дошел бы до любого слушателя. Исключаю песенки, написанные исключительно ради эпатажа. “Я не знаю, зачем и кому это нужно” — песенка, написанная после октября 1917 года и посвященная юнкерам, павшим, защищая Москву, от тех, кого им было внушено считать врагами родины, изменниками, продавшими немцам, то есть от большевиков, поднявших знамя вос-

стания, — эта песенка всякий почти раз вызывала истерики в зрительном зале, когда со сцены раздавались слова:

И какая-то женщина с побледневшим лицом
Целовала покойника в по-
невшие губы.

И швынула в священника
обучальным кольцом.

“Горжеточка” находила дружный отклик в среде обнищавшей после революции художественной богемы. Человеческим состраданием, казалось тогда, звучали слова:

Что вы плачете здесь, одинокая грустная деточка,

Кокаином распята в мокрых
бульварах Москвы.

Облысевшей, облезлой, крашеной горжеткой обвивалась жизнь вокруг стольких поху-
девших женских щек, согнутых полурасстоптанных тяжелой пятой революции.

Я не слышал вступительной речи Вертинского. Говорят, он сказал, что двадцать пять лет назад, еще молодым человеком он покинул родину, которую, однако, не переставал любить. Отъезд этот был ошибкой. Теперь, вернувшись, он счастлив. Он просит простить ему, если он будет волноваться в течение первого отделения. Это отделение состояло из песен эмиграции. Затем, дескать, он исполнял советские песни на слова К. Симонова и так далее. Я пришел к концу третьего отделения, даже точнее к номерам на bis,

Зритель и сцена —